

В последние десятилетия интерес к голодарному искусству явно пошел на спад. Если в прежние времена устройство таких представлений могло приносить немалый куш, то теперь-то резона в том нет никакого. Другие времена. Тогда, бывало, весь город галдел о нем, голодаре, ото дня ко дню валило все больше публики; каждому хотелось взглянуть на него хоть раз в сутки; под конец завели для желающих абонементы, чтобы те могли с утра до вечера просиживать перед небольшой решетчатой клеткой. Даже по ночам проводились экскурсии – при свете факелов для пушгего эффекта; в ясные дни клетку выносили на воздух, и тут уж приводили детей полюбоваться; для взрослых то была просто шоедшая в моду забава, а дети глазели, раскрыв рот, во все глазелки, держась из боязни за руки, глазели на то, как он, бледный, в черном трико, с выпирающими ребрами, сидит, пренебрегая креслом, на соломенной россыпи, вежливо кланяясь, сляясь отвечать на вопросы, протягивая сквозь решетку руки, чтобы любой мог удостовериться в его худобе. Потом он снова уходил в себя, ни на кого больше не обращал внимания, даже на бой часов, единственный предмет в его клетке, а только смотрел с полузакрытыми глазами перед собой, пригубливая воду из крошечного стаканчика, чтобы смочить себе губы.

Помимо случайных зрителей, сменявших друг друга, были и постоянные дозаторы, выбранные публикой; почему-то состояли они по большей части из мясников, которые, всегда по трое, следили за тем, чтобы голодарь не съел чего-нибудь украдкой. Но то была простая формальность для успокоения масс, ибо посвященные ничуть не сомневались, что голодарь ни при каких обстоятельствах не возьмет в рот ни крошки, даже если его начнут к тому принуждать насильно: честь художника не допустит. Конечно, не всякий дозирующий готов был это понять; бывали и весьма нерадивые сторожа, пускавшие ради послаблений на разные хитрости: усаживались, к примеру, в дальнем углу и резались себе в карты, так что голодарь вполне мог улучшить момент и воспользоваться каким-нибудь тайным припасом, в наличии которого они не сомневались. Эти-то мнимые раззявы и были его главные мучители; они навевали уныние, растревляли душу; иной раз он, превозмогая слабость, пел для них, сколько хватало сил, чтобы только показать караульщикам, сколь неосновательны их подозрения. Но и это не помогало; они тогда лишь дивились тому, что этот ловкач ухитряется жевать и во время пения. Куда больше ему нравились сторожа другие, те, что усаживались как можно ближе к его клетке и, не довольствуясь тусклым освещением зала в ночное время, навели на него свои карманные фонарики, которыми их снабдил импресарио. Резкий свет не мешал ему; спать-то он все равно не мог, а предаваться легкому забытью умел при любом освещении и в любое время, даже в переполненном шумном зале. Вот с такими надсмотрщиками он был рад не смыкать глаз во всю ночь, любил шутить с ними, рассказывать всякие были и небыллицы о своих странствиях, а потом выслушивать в свой черед их рассказы – и все это только для того, чтобы они не заснули, чтобы убедилсь: нет у него тут съестного, а голодает он так, как им было бы не по силам. Но по-настоящему счастлив он бывал, когда наконец наступало утро и им приносили за его счет обильнейший завтрак, на который они набрасывались жадно, как и положено здоровякам после бессонной ночи. Правда, находились люди, расценивавшие такой завтрак как своего рода подкуп, но что слишком, то слишком: стоило предложить таким людям самим подежурить без всякого завтрака, как они немедленно рассеивались, хотя и оставались при своих подозрениях.

Что ж, где голодание, там подобные подозрения неизбежны. Никто ведь не мог оставаться при голодаре денно и ночью, так что никто и не мог опытом своим поручиться, что голодание происходит по правилам и непрерывно; только сам голодарь мог о том знать, только он один, в сущности, мог быть и вполне удовлетворенным зрителем себя самого. Однако как раз он, и совсем по другой причине, вовсе не был удовлетворен; собственно, он и отошал-то – да так, что многие не выдерживали его вида и прекращали из жалости свои хождения к клетке, – только потому, что не испытывал удовлетворения. Дело в том, что только он один знал, насколько легко голодать, – этого ведь не знал даже ни один посвященный. На свете не было ничего легче. Собственно, он этого и не скрывал, да только ему никто не верил, в лучшем случае его журили за скромность, но чаще обвиняли в саморекламе или вовсе шарлатанстве: он-де нашел способ облегчить себе задачу, да еще имеет наглость в открытую хвастать. Со всем этим ему приходилось мириться, привыкая по мере лет, однако недовольство собой в нем все нарастало, и – это надо признать – не было случая, чтобы он покинул свою клетку добровольно. Предельный срок голодовки импресарио установил в сорок дней; нигде, даже в столицах, он не позволял ему голодать дольше, и на то была веская причина. В течение сорока дней, как показал опыт, еще можно было посредством постепенно накаляющейся рекламы возбуждать и поддерживать интерес горожан, а потом публика заметно охладевала и отворачивалась; конечно, между отдельными городами и странами наблюдалась некая разница, но в целом сорок дней было сроком предельным. И вот, когда через сорок дней двери украшенной гирляндами цветов клетки открывались, восторженная публика заполняла амфитеатр, играл военный духовой оркестр, двое врачей входили в клетку, чтобы освидетельствовать голодаря; результаты анализов оглашались по мегафону, затем две юные барышни, гордые оттого, что эта роль досталась им, помогали голодарю преодолеть две-три ступеньки на выходе из клетки и подводили его к небольшому столику с легкими яствами, тщательно отобранными и сервированными. Однако в этот момент голодарь всегда начинал ерепенись. Он хоть и совал покорно свои руки-мощи в участливо простертые к нему ладошки помощниц, но вставать не хотел. Почему надо все прекратить именно теперь, на сороковой день? Он мог бы выдержать еще долго, бесконечно долго; зачем же все обрывать именно теперь, когда он даже не достиг еще наилучшей стадии своего голодания? Зачем хотят лишить его славы величайшего мастера голодания всех времен, каковым он, по видимости, уже был, но ведь ему так хотелось превзойти самого себя, изведать и самые непостижимые пределы безграничности. Зачем же так нетерпелива эта толпа, которая делает вид, что восхищается им, когда у него хватает терпения продлить голодовку? К тому же он утомился, нет у него охоты вставать со своей соломы и тащиться к этой еде, одна мысль о которой вызывает у него тошноту, с трудом подавляемую ради этих прелестниц. И он поднимал глаза на этих столь приветливых с виду, но столь жестоких барышень, мотая отяжелевшей головой на слабенькой шее. Но тут случалось то, что обычно случалось. Подходил импресарио, молча – музыка все одно заглушила бы его голос – воздевал руки к небу, словно призывая Творца взглянуть на его распростертое на соломе творение, на этого достойного жалости мученика, каковым тот, хотя и в совсем другом смысле, на самом деле являлся; обхватывал голодаря за тонкую талию, делая это с преувеличенной осторожностью, чтобы все видели, какое хрупкое создание у него в руках; и передавал его – незаметно, но чувствительно встряхнув отошавшее тельце, так что оно, провиснуло, начинало болтаться – двум юным дамам, уже до смерти напуганным и побледневшим. Теперь уж голодарь терпел все; голова его свисала с груди, будто свалившись с шеи и за что-то там зацепившись, тельце словно сдулось; ноги сцепились в коленях в инстинктивных судорогах и сучили по полу так, точно пол был не настоящий, а настоящий еще надо было нащупать; и всей, пусть и весьма скудной, тяжестью своей тельце валилось на одну из дам, которая, тяжело дыша и озираясь в поисках помощи – так эту почетную миссию она себе не представляла, – поначалу еще вытягивала в сторону шею, чтобы уберечь от соприкосновений с голодарем хотя бы лицо, но потом, поскольку это ей никак не удавалось, а ее более удачливая партнерша не приходила на помощь, довольствуясь тем, что несла в дрожащей руке своей высохшую кисть мастера, она раздражалась рыданиями под раскаты довольного смеха всего зала и уступала свое место заранее приготовленному сменщику из числа слуг. Потом была трапеза, во время которой импресарио слегка помогал впадшему в

полузабыть голодарю, кормя его с ложечки и без умолку сыпля шутками, чтобы отвлечь внимание от его состояния; затем следовал топот за дражайшую публику, который якобы нашептывал голодарю импресарию на ухо; оркестр завершал дело, врубая могучий туш, и все расходилось, и никто не был вправе быть недовольным увиденным, никто, кроме него, вечно недовольного всем художника.

Так он жил с короткими перерывами на отдых много лет, в видимом блеске, в ореоле славы и в раздраженном унынии, которое было тем горше, чем меньше его принимали всерьез. Да и как было его утешить? Что можно было ему пожелать? Ведь если и находился иной раз какой-нибудь доброхот из числа сочувствующих, пытавшийся объяснить ему, что вся его тоска – с голодухи, то бывало, что он, особенно в разгар сеанса, отвечал таким яростным рыком и так тряс свою клетку, что наводил на окружающих ужас. Однако на такие выходы у импресарию было припасено свое наказание, которое он любил применять. Он приносил почтеннейшей публике свои извинения за поведение голодаря, оправдывая его раздражение действием голода, не знакомого сытым людям, и в связи с этим переходил к уверениям его подопечного, что он мог бы голодать значительно дольше, чем он голодает обычно; хвалил за высокое стремление, и добрую волю, и великое самоотречение, заключающиеся, несомненно, и в этих уверениях, но сразу и опровергал эти уверения – тем, что показывал фотографии, тут же распродаваемые, голодаря, сделанные на сороковой день испытаний: опустошенного, лежащего в кровати без каких-либо сил. Такое искажение истины хоть и было знакомо художнику, но всегда выводило его из себя. То, что было результатом преждевременного окончания опыта, приводилось здесь в качестве причины! И бороться с этим непониманием, биться об эту стену непонимания было бесполезно. Пока импресарию еще говорил, он жадно слушал, припав к прутьям клетки, но как только тот извлекал фотографии, он, съжившись, отходил на свою солому, и публика могла снова подойти поближе и продолжить просмотр.

Сами себе удивлялись, спустя годы, люди, ставшие свидетелями подобных сцен. Ибо за это время произошел уже упомянутый перелом; и произошел он почти внезапно; причины, видимо, были скрыты на глубине, но кому было до них докапываться? Как бы там ни было, но избалованный маэстро обнаружил однажды, что публика, жаждущая развлечений, его покинула, устремившись к зрелищам иного рода. Еще раз прогнал его импресарию по городам пол-Европы, желая хоть где-нибудь отыскать искру прежнего к нему интереса; но все напрасно; повсеместно и разом, как вследствие заговора, угас вдруг прежний интерес к голодарному делу. На самом-то деле такое отвержение наступило не вдруг; и теперь, покопавшись в памяти, можно было бы припомнить кое-какие тревожные предвестья, которым кто же станет внимать в угаре успеха, а теперь уж поздно было что-то предпринимать. Пусть и не оставалось сомнений, что придет опять пора голодания, но для живущих ныне то было слабое утешение. Что оставалось делать голодарю? Тот, кому рукоплескали толпы, не мог теперь показываться на ярмарочных аренах, осваивать же новое ремесло он тоже не мог, и не только потому, что был для этого слишком стар, но потому, что был фанатически предан призванию. Итак, он отпустил импресарию, беспримерного спутника своей карьеры, восвояси и принял предложение некоего большого цирка; даже не взглянув при этом, щадя свои чувства, на условия контракта.

Всякий большой цирк с его бесчисленным множеством сменяющих и дополняющих друг друга людей и зверей может найти применение любому и в любое время за скромное содержание – и голодарю тоже. Тем более что в этом случае использовался не только артист, но и его старое доброе имя; к тому же, как он уверял, он вовсе не искал на старости лет тихой заводи; напротив, он утверждал, что голодает никак не меньше прежнего, и этому можно было верить; он полагал даже, что только теперь созрел для того, чтобы по-настоящему повергнуть мир в изумление; ему поддакивали, но пряча улыбку.

На самом-то деле и голодарь не утрачивал чувства реальности и с пониманием относился к тому факту, что его клетку устанавливали теперь не на арене в виде коронного номера представления, а поодаль, на задворках, рядом со зверинцем – в месте, впрочем, вполне доступном. Большие, густо размалеванные плакаты обступали клетку со всех сторон, поясняя публике, кто в ней сидит. Когда в антракте публика устремлялась к зверинцу, она не могла миновать и голодаря и чуть замедляла свой шаг у его клетки; стояла бы перед ней, может быть, и подольше, если бы не напор толпы сзади, не понимавшей, отчего вдруг возник затор в коридоре. По этой причине голодарь, хоть и ждал этих минут, в то же время от них содрогался. В первое-то время он считал минуты до этих антрактов, и сердце его замирало от приближения зрителей, однако и он убедился со временем – ни одно, даже самое упорное, к самообману склонное сердце не устоит против опыта, – что интересен им не он, а звери. Сладостен был только миг, пока они были вдали. Ибо стоило им приблизиться, как его сразу же оглушали крики и брань двух групп, непрерывно образовывавшихся: одни – самые противные – желали разглядывать его не торопясь, со всеми удобствами, не потому, что сочувствовали, но потому, что таков был их упрямый каприз; другие, напирая, спешили к зверинцу. Когда же рассасывалась основная масса, показывались запоздавшие; этим-то ничто вроде бы не мешало постоять при желании подольше около голодаря, но они проносились мимо не озираясь – чтобы успеть взглянуть на зверей. Иной раз, нечасто, выпадал и счастливый случай: когда какой-нибудь глава семейства, в окружении детишек, задерживался у клетки и, тыча пальцем в голодаря, подробно рассказывал им о том, кого они видят, о былых временах, когда сам он бывал на подобных, но куда более помпезных представлениях; и тогда в пытливых глазках детишек, все еще полных недоумения – ибо что было им голодание; не были они подготовлены к подобному ни школой, ни жизнью, – все же загорался огонек, суливший возвращение лучших, счастливейших обстоятельств. Быть может, говорил себе тогда голодарь, все было бы и теперь не так худо, если бы не придвинули его к зверинцу. Людям, в сущности, не оставили выбора, не говоря уже о том, что постоянная вонь, возня зверей по ночам, вид сырого мяса, которое проносили по коридору для хищников, а потом их рычание – все это угнетало и раздражало его. Но обращаться к дирекции с просьбами он не смел; ведь только благодаря зверям сновали мимо него эти толпы, среди которых мог найтись и тот самый, одному ему предназначенный зритель; и кто знает, куда его еще заткнут, если он напомним о своем существовании и тем самым о том, что он, строго говоря, всего лишь препятствие на пути к зверинцу.

Препятствие, впрочем, незначительное, да и становилось оно все меньше день ото дня. Эта странность – желание в наше время привлечь внимание к голодарю – утратила свою необычность, и его участь, таким образом, была решена. Он мог голодать сколько ему угодно, что он и делал, но спасти его уже было нельзя, люди попросту шли себе мимо. Что за притча – объяснять кому-нибудь суть голодарного дела! Кто его не чувствует, тот и не поймет. Броские афиши поистрепались и стерлись, их сдирали со стен, никому не приходило в голову заменять их другими; на досочке с цифрами, на которой тщательно отмечались поначалу сроки голодания, давно застыли старые даты, ибо после первых же недель персоналу надоело их обновлять; так что голодарь голодал себе дальше, бесконечно и без усилий, как он когда-то мечтал, но никто не подсчитывал дни голодания, и никто, даже он сам, не знал, каково на сегодня его достижение, а потому в сердце его жила одна только горечь. И если останавливался иной раз какой-нибудь ротозей, чтобы потешиться над устаревшими датами и посудачить над обманом, то ведь это и была злейшая ложь, порожденная равнодушием, ибо то не голодарь обманывал, он-то работал честно, а мир обманывал его, лишая награды.

Так тянулись за днями дни, но всему приходит когда-то конец. Однажды клетку заприметил смотритель, он спросил у служителей, отчего стоит она тут без дела со своей прогнившей соломой; никто не мог ответить ему, пока кто-то не догадался взглянуть на табличку и не вспомнил о мастере голодания. Разворошили шестами солому, откопали голодаря. «Все еще голодаешь? – спросил смотритель. – Когда же ты наконец закончишь?» – «Да простят меня все», – прошептал голодарь так, что его услышал, прижав ухо к прутьям, только смотритель. «Конечно, конечно, мы прощаем тебя», – сказал смотритель и постучал себя пальцами по лбу, чтобы показать всем, что происходит с узником клетки. «Уж очень мне хотелось, чтобы вы восхищались моим голоданием», – сказал голодарь. «А кто же не восхищается, мы все восхищаемся», – заверил его смотритель. «Я ведь должен голодать, я не могу иначе», – сказал голодарь. «Надо же – сказал смотритель, – отчего же ты не можешь иначе?» – «Потому что я не смог найти себе еду по вкусу, – ответил прямо в ухо ему голодарь, вытянув голову и сложив губы как для поцелуя. – Если бы я нашел ее, то, поверь, ел бы себе и ел, как вы все». То были последние его слова, однако в его погасших глазах все еще жила твердая, хотя уже далеко не горделивая воля к дальнейшему голоданию.

«А теперь навести здесь порядок!» – распорядился смотритель, и голодаря погребли вместе с соломой. А в клетку запустили молодую пантеру. Даже самые бесчувственные люди испытали наконец облегчение, когда по так долго пустовавшей клетке забегал этот дикий зверь. Он ни в чем не испытывал недостатка. Сторожа только и знали, что подтаскивали пищу, зверь вроде бы не тосковал и по свободе; налитый могучей жизненной силой, прямо-таки свисавшей у него с клыков, клокотавшей в разверстой пасти, он и пугал, и притягивал к себе зрителей. Они, преодолевая страх, обступали клетку плотным кольцом и не хотели никуда уходить.